



*Личный архив*

**АНАТОЛИЙ**

**НАЙМАН**

**РАССКАЗЫ О**

Москва  
Издательство АСТ

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6  
Н20

Охраняется Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах».  
Воспроизведение книги любым способом, в целом или частично,  
без разрешения правообладателей будет преследоваться  
в судебном порядке»

*Издательство благодарит Анатолия Генриховича Наймана  
за помощь в подготовке книги и за предоставленные фотографии.*

Найман А.Н.  
Н20 **Рассказы о.** — Москва: Издательство АСТ, 2017. — 512 + [32 вкл.]  
с.: ил. — (Личный архив).

ISBN 978-5-17-101149-9

...И почему бы моделью мира не определить пирог. Пирог, как известно, штука многосоставная. В случае Наймана и книги этой — верхний слой теста Анна Ахматова — поэт, определивший своей Верой Поэзию. Пласт донный — поэт Красовицкий Стась, определивший для себя доминантность Веры над Поэзией.

Сама же телесность пирога — тут всякое. Книжный шкаф поэзии — Бродский. Довлатов — письмо с голоса. Аксеновские джазмены и альпинисты. Голявкин — неуступчивость правды, безущербность сочувствия. Борисов, вот тут особо: Солженицын осудил его (а Солженицын же «наше все» почище Пушкина), а по чести — не особо наше, не особо все. А потому, и Борисов — хорош. Честен, и все тут.

Честная книга Анатолия Наймана — мы бы так ее назвали.

**УДК 821.161.1.09**  
**ББК 83.3(2Рос=Рус)6**

ISBN 978-5-17-101149-9

© А.Н. Найман, 2017  
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2017



**НОВЫЙ  
ВИД ИЗ ОКНА**



**П**оезд прибывал в половине девятого, комиссионные открывались в одиннадцать, значит, для начала я должен был убить эти два с половиной часа.

Я не навещался в Ленинград уже больше пяти лет, с тех пор как, разлюбив одних, расплевавшись с другими и как следует поссорившись с оставшимися двумя-тремя давними и близкими друзьями, я пережил полугодовой приступ непомерной тоски и скуки и уехал в Москву, где вскоре женился и зажил семейной жизнью, без прежних изнурительных и безрезультатных увлечений чем-нибудь и без таковых же разочарований. Я написал «двумя-тремя» не потому, что забыл, сколько у меня тогда было друзей, а потому что хотя их было три, но поссорился я как следует только с двумя, а третий в это время вступил в фиктивный брак с итальянкой и укатил в свою Италианию и, как говорится, скатертью дорога. Я, разумеется, и с ним поругался, но, как видите, не-доругался, и хотя прощались мы надутые друг на друга, но прощались все-таки, потому что он сказал, что это навсегда и, возможно, так оно и было.

Он много чего тогда говорил, он вообще был чрезвычайно словоохотлив и вне, как он выражался, вербального самовыражения себя не представлял. Приземлившись в Риме, он дал одно за другим два длинейших интервью, и в них такого напорол про свободу слова и совести и «свободу с большой буквы», гонения на интеллектуалов

и на него лично, про порядки в «Ленинграде — этих наших южных штатах» и даже про меня, его «одного друга, фамилию которого по понятным причинам нельзя опубликовать и который сейчас вынужден бежать из этого города-вампира, города с атмосферой, удушающей всякую живую жизнь» («La vie vitale» было в тексте, который я читал, но я уверен, что он сказал «живая жизнь», потому что с этой живой-жизнью он носился как раз последние полгода и выстреливал ею через фразу), что я сильно рассердился на себя, зачем я все-таки не поссорился с ним, как с двумя другими, и, за неимением никакой иной аудитории, в резких выражениях заявил жене, что отныне считаю себя с ним в ссоре, а лучше сказать — вообще с ним не знакомым. (Отдельно от этих необходимых пояснений к началу моего рассказа, для которых называние имен необязательно, и только для удобства дальнейшего повествования сообщаю его имя — Игорь К.)

Хотя по-московски на часах было уже утро, я вышел из вагона в ночь, в черноту, пробитую во множестве мест фиолетово-металлическим светом без сияния. Весь вокзал был перестроен (но опять — симметрично московскому), и лампы тоже были новые: уж не помню, какие были прежние, желтые, но эти были по сравнению с теми, как те по сравнению с газовыми (решил я, никогда газовых не видел). Я прошел перрон, еще храня под одеждой тепло, захваченное в вагоне, но уже в ангаре вокзала его стал выедать сырой мороз, и когда я вышел на площадь, я продрог, однако как будто организм к тому времени успел вспомнить прежние свои приемы приспособления к этому климату и включил старый, отлаженный за три десятилетия терморегулятор, и, завернув за угол аптеки на Невский, я начал — не согреваться, конечно, а — переставать мерзнуть, получая взамен, тоже без какого бы то ни было усилия вспомненную телом, зябкость, с которой можно жить целый день и полгода зимних дней подряд.

Я пересек Невский, словно бы вдвое сузившийся за эти пять лет, по переходу прямо против круглого метро (занимавшего место какого-то здания или сквера, которые я еще, кажется, застал и мог вспомнить, и многого, вроде конной статуи Александра III из навсегда запертого дворика Русского музея и еще более внушительной, хотя и несравненно менее материальной, тени неистового Виссариона, завидовавшего отсюда внукам и правнукам, чего я помнить не мог), прошел мимо трех троллейбусных остановок, удивившись, что

как прежде знаю их последовательность и номера маршрутов и сами маршруты от кольца до кольца, и вошел в сосисочную, которая — сколько, лет пятнадцать тому назад? — открылась (на месте обыкновенной столовки) как рекламно-экспериментальный пункт питания, снабжаемый самыми свежими и лучшими продуктами ленинградского мясокомбината, и в ту, при открытии возникшую, репутацию, которой я верил десять следующих лет, хотя уже через год съесть в ней было можно только вечный клейменный ромштекс.

Гардеробщик, инвалид со знакомым незнакомым лицом, пробурчал, что никаких пакетов он не примет, и я пробурчал в ответ, что, пожалуй, и сам ничего на такой вешалке не оставлю: вешалка была с картонными номерками и у самой двери на улицу. Пакет, однако, хотя был и легок, и компактен, уже раздражал меня, газета, в которую все было завернуто, в одном месте прорвалась, а в другом, под шпагатом, начала лохматиться. Я прошел в зальчик, лежащий двумя ступеньками ниже остальных, сел за угловой и потому двухместный стол и положил пакет на свободный стул. Публика была утренняя, либо унылые приезжие вроде меня, либо унылые местные бобыли, либо унылые весельчаки с ночи. Пахло моей любимой капустой с кухни и кофеом-о-ле с соседних столов. Официантка не появлялась, я пригрелся и стал погружаться в дремоту. Внезапно мой стул толкнули, и громкий голос произнес: «Почему здесь? Чья вещь? Освободить место!» Я поднял голову и узнал директора нашей школы.

Я взял пакет себе на колени, и он сел рядом со мной, сунув тяжелый портфель под стул. Без сомнения, это был он самый, Вселд-Якыч, буй-тур Всеволод, старый, конечно, морщинистый и плешивый, но он, директор, дирик, атас и так далее, и даже если бы я не узнал его по физиономии, «почему-здесь?» уж во всяком случае убедило бы меня. «Почему-здесь?» — спрашивал он любого возникшего на его пути по коридору младшеклассника и автоматически брал его крепко за ухо. «Почему-здесь?» — вырывалось у него еще в случае внезапного недоумения или неясности: «Друзья и дружба надоели, — помню, читал он, — затем, что не всегда же мог... Почему-здесь? Кто прочтет?» — обратился он к классу. Кто-то сказал: «Бифштекс!» — и он повторил в раздумье: «Бифштекс?... Бифштекс и страбургский пирог шампанской обливать бутылкой?..» — остановился и со злобой рявкнул: «Почему-здесь?» Он преподавал нам литературу... И сыпать острые

слова, когда болела голова. Боже мой, как все это было прелестно! Beef-steaks, почему-здесь, душный воздух и электрический свет восьмого класса, онанисты Алексеев и Алехин на последней парте, желание смеяться, дерзить, сделать что-нибудь, не делать ничего. Как все это было прелестно, или, что то же самое: как все это было давно!

— Чему улыбаетесь? — спросил он по-прежнему страшно и зловеще.

— Здравствуйте, Вселд Яковлевич, — сказал я. — Я ваш бывший ученик. Выпуск пятьдесят третьего года. Помните?

— А-а... — протянул он. — То-то я смотрю. Дети страшных лет России? Помню... Ну, заказывай тогда.

Я спросил, чего он хочет.

— Пива! — поспешно и сердито ответил он. — У них тут ничего, кроме пива, уже не бывает. А от пива одна моча. «Заведение»...

— Ну? ты как? где? — стал он спрашивать, когда нам принесли сосиски с горошком и откупорили сразу четыре бутылки. — Кандидат? Или уже доктор математических наук, да? Вас там было несколько умников, я помню, сообразительных таких... А я, как раз после вашего выпуска, в аккурат через год, по профессорско-преподавательской линии пошел. В народном просвещении реформы начались, апробации новых систем, туда-суда, суё-маё...

Видно было, что ему очень хотелось матюгнуться, и он выпил залпом два стакана пива.

— А у меня методики были, помнишь какие!.. Помнишь какие! — вскричал он на всю сосисочную и вытер указательными пальцами глаза под очками. Он тотчас засмеялся, весело и хитро.

— У меня все образы были разобраны, помнишь? Мои планы, — он стукнул ботинком портфель, — томов премногих тяжелей... Я создатель универсального — универсального! ты пойми только! — учебника русской литературы. Плач Ярославны, может собственных Платонов, старик Державин, Онегин-Печорин-Бельтов — лишние люди, Собакевич, Манилов, Чичиков — нарождающаяся буржуазия, лабардан-с, Хаджи Мурат, образ русской женщины Наташи Ростовской, зеркала революции, впереди идет матрос, образ матери в одноименном романе Горького!.. Ты понял? Все здесь! — он опять пнул портфель. — А почему здесь? Почему здесь, а не на полках библиотек?.. То-то и оно. Это и есть вопрос...



Он выпил еще пива, съел в два куса сосиску, нежно хрюкнул и объявил важно:

— Я преподаю сейчас курс русской литературы в школе для детей семей людей, работающих в иностранных консульствах и некоторых других спецучреждениях. Сам понимаешь, должность немалая, работа непыльная. Но эти зай-гизунты в джинсах по-русски ни бум-бум, моя-твоя не понимай. А раз так, я этого ни на полшишки кланчить не стану. Вот, — закричал он, наклоняясь под стол и доставая портфель. — Вот, возьмем, к примеру, — он вынул толстую тетрадь, полистал ее и начал читать: — «Шинель. План сочинения. Первое: время и исторические условия написания...» А-а! пропадай все! — он вырвал страничку и протянул мне: — Бери на память, а я и так на память все помню! Дома прочтешь... Так вот: югенды из дружественной нам Германской Демократической Республики идейное содержание и художественные особенности повести Эн Вэ Гоголя «Шинель» знают наизусть спереди назад и сзади наперед. Но почему Петрович стал называться не Григорием, а Петровичем, этого они не поймут ни в четвертом рейхе, ни в пятом. А потому, скажу я тебе, хотя это не имеет никакого отношения ни к идейности, ни к художественности, что, получив от барина отпускную, Петрович стал попивать довольно сильно по праздникам. «Сначала по большим, а потом по всем, без разбору, лишь бы в церковном календаре стоял крестик».

Мы оба заулыбались.

— Там есть такое замечательное словцо, — сказал я, — что Акакий Акакиевич не замечал, что он не на середине строки, а на середине улицы.

— Там много есть замечательных мест, — вдруг став угрюмым, ответил он. — Сэд алья тэмпора Удалость (как сон любви, другая шалость) проходит с юностью живой, — продекламировал он безо всякого выражения.

— А вы знаете, вот было открыто... не так давно... — я замаялся, потому что неожиданно не мог сказать, что это было Ахматовой открыто, не мог язык имя произнести, — что значительное лицо — это чуть ли не Бенкендорф.

Я сказал это совершенно не к месту, как будто хотел похвастать, сначала упоминанием Ахматовой, и когда не получилось, то хоть вот

знанием. Я почувствовал неловкость уже посередине фразы и кончил ее себе под нос. Или он был директор, и тогда нечего мне выскакивать, или просто посетитель пивной, и тогда тем более помалкивать бы мне, трезвому, на тонкие темы. Заполняя паузу, я все-таки произнес: «А на розвальнях правил великан-кирасир».

— Вот что, — сказал он, поднимаясь из-за стола и застегивая портфель. — Я вас не помню абсолютно. Если вы мне скажете, что учились в сто девяносто девятой, я отвечу, что даже не знаю, где такая находится; если в образцовой имени Николая Островского, то там преподавал мой брат Вячеслав. А если в Петер-шуле! — он сделал на этих словах ударение и пристально поглядел на меня, потому что я действительно учился в бывшей Петер-шуле. — То я замечу вам, что в пятьдесят третьем году я находился в Берлине — и не по делам изящной словесности! Благодарю за компанию!

Он кинул на столик рубль, щелкнул каблуками и, левое плечо вперед, вышел из помещения.

В пакете у меня была дубленка: темно-коричневого цвета, тонкой замшевой выделки, мэйд ин Франс, мужская, пятидесятого размера. Месяц тому назад, без какого-нибудь предупреждения, в дверь моей квартиры позвонил незнакомец странного иностранного вида, лет не то двадцати, не то сорока, с ослепительно-алым чемоданом в руке, и с порога спросил:

— Как имя К.?

— Иосиф, — сказал я в изумлении.

— Ка-ак?! — ахнул он и сделал несколько шагов назад.

— Черт! Игорь. Простите. Оговорился.

— Как имя Игорь мама и как имя Игорь папа? — спросил он все еще подозрительно.

Я назвал. Он вошел, закрыл за собой дверь и представился:

— Мартин Фрут, Цинциннати, штат Огайо, епископ епископальной церкви. Игорь друг.

В чемодане было несколько книг, синяя нейлоновая куртка, набитая гагачьим пухом и накачанная вечно горячим воздухом, и эта самая дубленка. С груди епископ достал письмо Игоря, во все время моего чтения остававшееся теплым.

Игорь писал, что он полностью и навсегда порвал с литературой, что само упоминание и воспоминание об *hommes de lettres* вызывает в нем тошноту, что он теперь занимается исключительно живописью, *painting*, на которую в Цинциннати, штат Огайо, большой спрос.

— *Painting*? — сказал я вслух, и епископ Мартин Фрут оторвался от разглядывания иконки преподобного Серафима, подаренной мне, когда я уезжал из Ленинграда.

— Пэйнтинг! — подтвердил он. — Господ бог любит добрый пэйнтинг. Игорь есть добрый пэйнтор. (Могу поклясться, что он произнес: пойнтер — причем нарочно.) Там есть слайд.

Я встряхнул конверт, и оттуда выпали два малюсеньких слайда. На одном красный конь бил задними ногами белую церковь. На другом полосатый кот ощеривал пасть, и в одном его глазу отражалась Спасская башня Московского Кремля, а в другом — я это не то чтобы увидел, слишком уж было крохотно, а сначала понял и только после этого все-таки увидел — вышка с часовым над стеной. Конь был похож на кота, а кот на коня, но церковь, Кремль и вышка выглядели вполне-вполне пристойно.

— Когда же это он научился, прохиндей? — сказал я не гостю, а как бы при госте, *мысль вслух*. Но он, оказывается, понимал лучше, чем говорил, да и говорил, вероятно, лучше, чем говорил.

— Мои приходжане любят Игор и любят Игор пэйнтинг. Игоря пэйнтинг, — поправился он. — Мои приходжане платят Игор пять сот долларов картина.

— Какого же размера он сейчас пишет картины? — спросил я, избрав лицом и интонацией такую профессиональную заинтересованность и серьезность, а под конец так ухмыльнувшись, что и последний его приходжанин догадался бы, что тут не все чисто и что я великий глумливец. Но владыка Мартин сделал несколько измерительных движений пальцами и произнес уверенно:

— Двадцать инчес на тридцать инчес.

— Вы хорошо говорите по-русски, — сказал я.

— Мой папа бул капитан Красной Армии, — выложил он со скоростью, вдвое большей, чем говорил до сих пор, и «бул» было не южным, а трудно произнесенным «был». — Мой папа бул окружен, бул отвезен в Германию, бул во Франции в Резистанс и уже в сорок третьем году бул в Нью-Йорке у моей мамы в постельке, — он засмеялся.

— Хорошо, — сказал я, — это очень хорошо. Я буду дочитывать письмо, а вы вот пока посмотрите Феофана Грека. (Был у меня такой альбом, специально, чтобы занимать епископов епископальной церкви.)

Игорь писал, что в штате Огайо скоро будет конец света, но что, похоже, здесь это будет организовано лучше, чем в родных пенатах. На биржах биржевая лихорадка, царит инфляция доллара, а при инфляции, как правило, покупают картины и драгоценности, и поэтому у него сейчас столько денег, что он не знает, куда их девать. Нейлоновую куртку он посылает мне на зиму: «Надеюсь, она согреет тебя во время долгой русской стужи, хе-хе». Книга Борхеса «Алеф и другие рассказы», английский текст которой отредактирован самим Борхесом, — ныне бестселлер «западной элиты» (?). Гослитовского Мандельштама он посылает в предположении, что в Москве с ее бумагопрядильнями таких книг не продается, тогда как в штате Огайо, напротив, они лежат стопками во всех ларьках Союзпечати. («Предисловие, которое за 15 лет своей многострадальной истории приплыло в славную дымшицовскую гавань, составлено, как ты увидишь, весьма искусно в том смысле, что к 37-му году у О. Э. испортилась нервная система, отчего его творческий путь прервался».) Антология «Все о женщинах и словами женщин», возможно, будет интересна моей жене или ее подругам, поскольку это самый последний крик вимен-либерейшн, «столь любезного нашим гимназическим сердцам своей откровенностью». (Я полистал эту книгу в присутствии епископа и, обнаружив, что она укладывается в одну фразу Платонова: «Чего вам надо: все-таки это женщины, люди с пустотой, поместиться есть где», я бросил ее в ящик для грязного белья, чтобы, когда наступит лето, сжечь.) Еще одна книга была пухленькой монографией о Мондриане (которого и я, и Игорь принципиально не любили с младых ногтей) с множеством цветных репродукций, из которых ни одна не была лучше или красивее другой. И — дубленка. «Прошу тебя забашлять ее подороже какому-нибудь дантисту или дантоведу и денежки вручить моим старикам. Мондриана тоже загощи и на эти деньги съезди к ним в Питер, ладно? Заодно развлечешься, хотя подозреваю, что Питер без меня — как без Невы». Следующий лист был ксерокопией какого-то стихотворения с Игоревыми комментариями к нему.

— Не скажете ли вы, где бы я мог вечером выпить чашечку кофе? — спросил епископ Фрут.

— То есть? — переспросил я.

— Не *подскажете* ли, где есть в Москве какой-нибудь частный дом, где бы я мог провести вечер за чашечкой кофе?

— Разве что мой собственный, милости просим.

— Нет, благодарю вас. Я имел в виду людей, которым было бы интересно знакомство с епископом епископальной церкви.

— Уж не знаю, как вам и отвечать, батюшка, — сказал я. — Что-то я таких не припомню.

— Вы не имеете контактов в Москве?

— Имею, но явно недостаточно, ваше преосвященство. И непрочные, — сказал я с видимым сожалением.

— Хм. Продолжайте читать! — отдал он приказ и опять уткнулся в эль-Грека.

Стихи были переводом из Джона Донна, «Гимн Богу моему Богу, во время болезни». Я достал с полки его *Selected Poems* и стал читать. И то, и другое мне очень нравилось. Английский Донн вздыхал ветрами и скрипел снастями, но и русская гравюлка с него выглядела явственно английской. Комментарии, как всегда, отдавали бахвальством и превентивной самообороной.

— Готово? — спросил американец, не поднимая головы от головы на блюде, приписываемой школе Феофана.

— Готово, мистер епископ, сэр, — сказал я. — Прочитано.

— Что передать Игорю?

— Передайте *масса* Игорю, мистер епископ, сэр, что *фпасибо* ему большое, что все будет сделано о'кей, как он просит. Передайте, что его перевод весьма полон и точен, большая удача. Запомните?

— Дача, — повторил он. — Дача, ордена, роскошные автомобили. Запонял.

— Хорошо. Передайте еще, если можно, что последняя строчка у Донна — скорее, «Значит, поднять Бог может, раз бросает». И ритмически поинтереснее. Как у Мандельштама на странице 247: «Ходит по кругу ночь с горячей пряжей». Запомните?

— Да. «0 семицветный мир лживых явлений». Страница 248.

Я проводил его до остановки, и мне показалось, что за ним следили. Во всяком случае, когда он сел в автобус, возле меня оказался чело-

век в овчинном тулупе, продиктовавший себе за пазуху: «Сел в автобус», а когда из двора выехала черная «Волга» 23—04: «Выехала черная «Волга» двадцать три ноль четыре».

Я переждал дней десять и, аккуратно завернув дубленку, отправился в комиссионный. Однако у самой его двери меня остановил за плечо какой-то тип с бегающим взглядом, ткнул пальцем в пакет, сказал: «Дубленка? А почитать у тебя ничего не найдется? Ивана Денисыча там, или Континент, а?» Похожее произошло и в букинистическом, куда я пришел с Мондрианом: «А одежды у тебя никакой нет? — спросил парень в нерповой шубке. — Техасов там, или куртона какого-нибудь?» Мондриана я все-таки продал. В конце концов, плевать, вяжите, если вы такие. Но дубленку решил от греха подальше из Москвы увезти, то есть попробовать реализовать (любимое слово родителей К.) ее в Ленинграде, а не получится — просто отдать им и пусть уж они соображают. Главное, что принеси я им три рубля от их гениального сына или бриллиант Санси огранки голландская роза, театр будет один и тот же: притворный ужас, непритворный страх, да можно ли брать, да кто именно привез, да не привез ли он еще чего-нибудь... В кармане у меня лежал обратный билет на сегодняшний же «хельсинкский» (23.40), но я скажу, что еду дневным (16.34) и задерживаться у них не имею времени. А до вечера где-нибудь проболтаюсь.

Войдя в магазин, я незаметно осмотрелся. Народу было немного: пенсионер возле брюк, сминавший в ладони и, как бабочек, выпускавший на волю один за другим висевшие перед ним суконные обшлаги, да две одинаковые интеллигентки, по очереди указывавшие друг другу издали пальцем на то или это джерсовое платье. Все трое были публика неподозрительная. У фарфора стоял высокий господин в кожаном пальто с бобровым шалевым воротником. Из угла с музыкальными инструментами за ним, отворачивая лицо, следил человек в фетровой шляпе пирожком. За этим, в свою очередь, наблюдал некто с другой стороны улицы, из сумрака между колоннами Гостиного Двора. Мне захотелось сию же минуту засвистать, сделав безразличное лицо, какой-нибудь популярный мотивчик. Я двинулся к шубам, прицениться.

Дубленок, разумеется, не было, но судя по ярлыкам на цигейковых и беличьих я должен был получить рублей четырехста: выделка, фа-

сон, вещь ни разу не надевана, да и вообще, поди найди французский шипскин. (Этот пассаж, как и предполагаемая сумма, был еще московской заготовкой.)

— Ботанэ, стой смирно, не оборачивайся, — дохнул мне в ухо тихий голос. Я обернулся и под фетровым пирожком узнал лицо Миши Железняка, как следует пожеванное и покусанное третьей четвертью двадцатого века. Он учился со мной до седьмого, потом ушел в техникум, после чего, как передавали, процветал в качестве телевизионного мастера. На экзамене по русскому письменному в пятидесятом году наш классный руководитель посадил меня и его за одну парту и торжественно сказал мне: «Все дашь ему списать, а потом проверишь. Мне этот сучий потрох второгодником не нужен». Ботанэ было мое прозвище в пятом классе.

— Тш-щ, — сказал он. — Покантуйся тут, а я должен одного антиквара наладить.

Он двинулся вдоль прилавков, скучающим взглядом пробегая по отрезам кримплена, пишущим машинкам «Ундервуд» 30-х годов и новеньким фотоаппаратам. У фарфора, в двух шагах от кожаного чело- века, он остановился.

— Ну, Люсь, покажи, — произнес он устало, и я заметил, что продавщица сдержала улыбку.

— За вчера и позавчера только вот, вот и вот, — махнула она рукой себе за спину, не глядя.

— Опять Лимож, опять одно и то же, — прогнусавил Миша. — Лимож, Мейсен, Байе. Копланда не было?

— Нет, — ответила девица, почти фыркнув.

— Копланда не было, а Кузнецова мне даром не надо, — сказал Миша и плечом оттолкнул кожаного. — Простите, вы чего тут рассматриваете? А-а, все то же саксонское барахло, которое уже никто второй год не покупает...

— Да, знаете ли, — откликнулся тот, — в общем-то, где-то, барахло. Миша зевнул, отвернулся и остановил взгляд на мне.

— Кого я вижу! — воскликнул он. — Собственной персоной!

И он пошел мне навстречу, раскрыв объятья.

— Из Москвы? Или, может, из-за рубежа? Читал выступление на симпозиуме. Читали его выступление на симпозиуме? — обратился он к любителю фарфора. — А? В «Литературке»? Да вы никак не зна-